

# Диковинные истории

**Автор:**

[Ольга Токарчук](#)

Диковинные истории

Ольга Токарчук

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук коллекционирует фантазии. В нашу серую повседневность она, словно шприцем, впрыскивает необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история – мини-шедевр в духе современной готики.

«Диковинные истории» – собрание причудливых рассказов, где каждая история – окно в потустороннее.

Ольга Токарчук

Диковинные истории

Пассажир

Один человек, сидевший рядом со мной во время длительного ночного перелета через океан, рассказал о ночных страхах своего детства. Ему постоянно мерещился один и тот же кошмар, он кричал и в панике звал родителей.

Это случалось в долгие вечера: тихие, сумрачные часы без телеэкранов (единственными звуками были шепот радиоприемника или шелест отцовской газеты) располагали к появлению странных мыслей. Он помнил, что боялся уже начиная с полдника, несмотря на успокаивающие слова родителей.

Ему тогда было года три-четыре. Он жил в угрюмом доме на окраине небольшого города, отец, человек принципиальный и не чуждый сарказма, директорствовал в школе, мать, аптекаршу, вечно окружало облако лекарственных запахов. Была еще старшая сестра, но та, в отличие от родителей, не пыталась ему помочь. Как раз наоборот – с непонятной для него нескрываемой радостью с самого обеда напоминала брату, что ночь не за горами. И если никого из взрослых не оказывалось поблизости, пичкала его историями о вампирах, восстающих из могил мертвецах и всевозможных исчадиях ада. Но удивительное дело: ее рассказы ничуть его не пугали – он не умел бояться всех этих существ, которых все считают страшными, они ничуть его не ужасали, словно место, предназначенное для страха, было в нем уже занято, и все возможности ощущать это чувство – исчерпаны. Он слушал возбужденный голос сестры, когда та драматическим шепотом пыталась его запугать; слушал совершенно спокойно, зная, что ее истории – ничто по сравнению с той фигурой, которую он видел каждую ночь, лежа в кровати. Так что, повзрослев, он, в сущности, мог бы быть благодарен сестре, привившей ему этими историями своего рода иммунитет ко всем обычным страхам земного шара: в определенном смысле он вырос человеком бесстрашным.

Причина его страха была невыразима, он не умел найти для нее слов. Когда родители вбегали в его комнату, спрашивая, что случилось, что ему снилось, он говорил только: «он», «кто-то» или «этот». Отец зажигал свет и, убежденный в непреодолимой силе эмпирического доказательства, демонстрировал сыну угол за шкафом или место возле двери, повторяя: «Видишь, нет тут ничего, ничего тут нет». Мать действовала иначе – прижимала его к себе, окутывала стерильным аптечным ароматом и шептала: «Я с тобой, ничего не бойся».

Но он был слишком мал, чтобы страшиться зла. В сущности, ни о зле, ни о добре он пока еще не имел ни малейшего понятия. А кроме того, был слишком мал, чтобы опасаться за свою жизнь. Впрочем, есть вещи и похуже смерти, похуже тех случаев, когда вампир высасывает из тебя кровь, когда оборотень разрывает тебя на части. Детям это хорошо известно: саму смерть еще можно пережить. Худшее – то, что повторяется с определенной периодичностью, неизменное, предсказуемое, неизбежное и инертное – то, что не зависит от тебя, вцепляется

клещами и тащит неведомо куда.

Итак, в своей комнате, где-то между шкафом и окном, он видел темную человеческую фигуру. Фигура стояла неподвижно. В темном пятне, за которым угадывалось лицо, тлела маленькая красная точка – кончик сигареты. Время от времени, когда сигарета вспыхивала, лицо проступало из мрака. Бледные усталые глаза смотрели на ребенка напряженно, с какой-то претензией. Густая щетина с проседью, испещренное морщинами лицо, узкие губы, словно специально созданные для того, чтобы затягиваться дымом. Мужчина стоял неподвижно, а побледневший от страха ребенок поспешно совершал свои защитные ритуалы – прятал голову под одеяло, стискивал металлическую спинку кровати и беззвучно читал молитву ангелу-хранителю, которой научила его бабушка. Но это не помогало. Молитва обращалась в крик, и на помощь прибегали родители.

Это продолжалось какое-то время, достаточно долгое, чтобы заронить в детскую душу недоверие к ночи. Но поскольку после ночи всегда наступал день и великодушно отпускал грехи всем порождениям тьмы, ребенок рос и забывал. День набирал силу, приносил все больше сюрпризов. Родители вздохнули с облегчением и вскоре тоже забыли о детских страхах сына. Они старели спокойно, в такт ежевесенним проветриваниям комнат. А тот человек из ребенка превращался в мужчину, преисполняясь уверенности, что детству не стоит придавать особого значения. Впрочем, утро и первая половина дня неизменно вытесняли из его памяти сумерки и ночь.

Лишь недавно – так он утверждал – неведомо как, незаметно, перешагнув шестидесятилетний рубеж, он однажды вечером вернулся домой усталым и понял, в чем было дело. Перед тем как лечь спать, решил выкурить сигарету и встал у окна, превращенного темной улицей в близорукое зеркало. Вспышка зажигалки на мгновение продырявила тьму, а потом огонек сигареты ненадолго осветил чье-то лицо. Из мрака проступила прежняя фигура – бледный высокий лоб, пятна глаз, полоска рта и щетина с проседью. Он моментально узнал его, тот человек ничуть не изменился. Сработала привычка – он уже набрал в легкие воздуха, чтобы закричать, – но звать было некого. Родители умерли; он остался один, детские ритуалы тоже утратили свою силу, он давно уже не верил в ангела-хранителя. Но мгновенно поняв, кого боялся когда-то так сильно, этот человек испытал подлинное облегчение. Родители, в общем, были правы – окружающий мир безопасен.

«Человек, которого ты видишь, не потому существует, что ты его видишь, а потому, что он на тебя смотрит», – заметил он в заключение этой странной истории, после чего мы погрузились в сон, убаюканные басистым урчанием двигателей.

Зеленые дети, или Описание удивительных событий на Волыни, составленное медиком Его Королевского Величества Яна Казимира Уильямом Дэвисоном

Эти события имели место весной и летом 1656 года, когда я уже не первый год находился в Польше. Я прибыл сюда несколько лет назад по приглашению Людовики Марии де Гонзага, королевы, супруги Яна Казимира, польского короля, чтобы занять пост королевского лекаря и директора королевского сада. Отклонить сие приглашение мне не позволяло высокое положение обратившихся ко мне особ, а также некоторые личные обстоятельства, кои упоминать здесь нет надобности. Отправляясь в Польшу, я волновался, ибо не был знаком с этим краем, столь удаленным от знакомого мне мира, и полагал себя неким эксцентриком, человеком, выходящим за пределы центра, в котором известно, чего можно ожидать. Я боялся чужих обычаев, жестокости восточных и северных народов, но более всего – здешней непредсказуемой атмосферы, холода и влажности. Ведь из памяти моей не изгладилась судьба моего друга Рене Декарта, что несколькими годами ранее, приглашенный шведской королевой, отправился в ее холодные северные владения – далекий Стокгольм – и там, простудившись, почил во цвете лет и интеллектуальных сил. Какая утрата для всяческих наук! Опасаясь, что и меня постигнет подобная участь, я привез из Франции несколько превосходных шуб, но в первую же зиму выяснилось, что они слишком легки и тонки для здешней погоды. Король, с которым я вскоре искренне подружился, подарил мне волчью шубу, длинную, до самых щиколоток, и я не расставался с ней с октября до апреля. Носил я ее и во время описываемого здесь путешествия, а случилось оно в марте. Знай, Читатель, что зимы в Польше, как и повсюду на севере, бывают суровы – достаточно представить себе, что до Швеции можно добраться по скованному льдами *Mare Balticum*[1 - Балтийское море (лат.)], а на многих замерзших прудах и речках устраиваются в дни карнавала ярмарки. И поскольку сие время года длится здесь долго, а растения тогда прячутся под снегом, ботанику, по правде говоря, остается совсем мало времени для исследований. Поэтому, хочешь не хочешь, пришлось сделать объектом своего изучения людей.

Меня зовут Уильям Дэвисон, я шотландец, родом из Абердина, однако много лет прожил во Франции, где карьеру мою увенчала должность королевского ботаника и где я опубликовал свои труды. В Польше их почти никто не знал, но ко мне относились с почтением, каким бескритично дарят всех тех, кто прибывает из Франции.

Что склонило меня к тому, чтобы последовать примеру Декарта и отправиться на край Европы? На подобный вопрос нелегко ответить коротко и по существу, но поскольку эта история касается не меня и я являюсь в ней лишь свидетелем, оставлю его без ответа, полагая, что всякого читателя более привлекает сам рассказ, нежели ничтожная фигура повествователя.

Хронологически служба моя при дворе польского Короля совпала с прискорбными событиями. Казалось, все злые силы ополчились против польского королевства. Страну терзала война, опустошало шведское войско, а на востоке тревожили налеты москалей. На Руси еще раньше восстали недовольные крестьяне. Короля этого несчастного государства, словно по закону таинственной аналогии, мучили многочисленные болезни – точно так же, как его страну набеги. Приступы меланхолии он был склонен лечить вином и близкими отношениями с прекрасным полом. Противоречивая натура не давала ему усидеть на месте, хотя Король постоянно твердил, что ненавидит движение и тоскует по Варшаве, где ждет любимая жена, Людовика Мария.

Кортеж наш двигался с севера, где Его Королевское Величество находился с инспекцией, а также пытался договориться о союзе с магнатами. Туда уже дотянулись руки москалей, посягавших на независимость Речи Посполитой, и если учесть, что на западе свирепствовали шведы, можно было подумать, будто все темные силы, сговорившись, избрали польскую землю в качестве сцены жестокого военного theatrum[2 - Театр (лат.)].

Это было мое первое путешествие в сию дикую окраинную страну, и я начал жалеть о том, что предпринял его, едва покинув предместья Варшавы. Однако любопытство философа и ботаника все же брало верх (имело значение – не стану скрывать – также и хорошее жалованье): если бы не это, я предпочел бы остаться дома и посвятить себя спокойным исследованиям.

Тем не менее, даже в столь сложных обстоятельствах я не забывал о науке. Дело в том, что, прибыв в этот край, я заинтересовался одним местным феноменом, правда, известным на свете, но здесь особенно распространенным – достаточно

пройти по любой бедной варшавской улице, чтобы лицезреть его на людских головах. Это *plica polonica*[3 - Колтун (лат.). Дословно - польская складка.], колтун, как называют его местные жители: странное образование из спутанных, свалывшихся волос, принимающее разные формы, иной раз наподобие веревок, иной - волосяного клубка, а то будто бы косы, похожей на хвост бобра. Считалось, что колтуны представляют собой прибежище добрых и злых сил, так что их обладатели якобы предпочли бы умереть, нежели избавиться от этого украшения. По своему обыкновению я делал наброски и собрал уже множество рисунков и описаний данного явления, намереваясь после возвращения во Францию опубликовать труд на эту тему. Сей недуг под разными именами известен по всей Европе. Во Франции он, пожалуй, встречается реже всего, поскольку жители ее придают большое значение своему внешнему виду и без устали чешут волосы. В Германии *plica polonica* выступает под именем *mahrenlocke*[4 - Моравский локон (нем.)], *alpzopf*[5 - Коса домового (нем.)] или же *drutenzopf*[6 - Проволочная коса (нем.)]. Знаю, что в Дании о ней говорят: *marenlok*, в Уэльсе и Англии же - *elvish knot*[7 - Эльфийский узел (англ.)]. Когда однажды мне довелось ехать через Нижнюю Саксонию, я слышал, что такие волосы называли *selkensteert*. В Шотландии считается, что это древняя прическа язычников, некогда проживавших в Европе, распространенная среди друидов. Я также читал о том, что *plica polonica* в Европе появилась во время набега татар на Польшу при правлении Лешека Черного. Существует также гипотеза, что это мода, пришедшая из Индии. Я встречал предположение, будто это евреи первыми ввели обычай сплести волосы в свалывшиеся пряди. Назорей - так называли святого мужа, во славу Всевышнего давшего обет никогда не стричься. Множество противоречивых теорий вкуче с бескрайними снегами привели к тому, что овладевшее мною поначалу интеллектуальное отупение сменилось затем творческим возбуждением, и я принялся исследовать *plica polonica* в каждой деревне, через которую пролегал наш путь.

В трудах сих помогал мне молодой Рычивольский, весьма способный юноша, не только служивший при мне камердинером и переводчиком, но и ассистировавший в исследованиях, а также - не стану скрывать - бывший для меня опорой в чуждом окружении.

Мы ехали верхом. Мартовская погода походила то на зимнюю, то на предвесеннюю, грязь на дорогах попеременно замерзала и оттаивала, превращаясь в чудовищную кашу, настоящее болото, куда проваливались колеса экипажей, нагруженных нашим скарбом. Стояла пронизывающая стужа, и фигуры наши напоминали меховые тюки.

В этом диком краю, болотистом и лесистом, человеческие поселения обычно расположены вдали друг от друга, так что капризничать по поводу ночлега не приходилось – мы останавливались в первой попавшейся смердящей усадевке, а однажды, когда нас задержал выпавший снег, даже заночевали в корчме! В таких случаях его величество выступал incognito, притворяясь обычным шляхтичем. Во время постоев я потчевал Короля снадобьями, которых вез с собой целую аптечку, случалось пускать на импровизированном ложе кровь, кроме того, я при всяком удобном случае устраивал королевскому телу солевые ванны.

Из всех болезней Короля наиболее зловредным я полагал тот придворный недуг, который его величество вывез якобы из Италии или Франции. Хотя видимых страданий он не доставлял и его легко было скрыть (во всяком случае, поначалу), последствия бывали очень опасны и коварны; говорили, что болезнь может перейти на голову и лишит человека рассудка. Поэтому, едва прибыв ко двору его величества, я принялся настаивать на лечении ртутью, которое должно продолжаться три недели, однако Король все не мог найти время для того, чтобы спокойно воспользоваться этим средством, во время путешествия же сей способ малоэффективен. Из прочих королевских хворей меня беспокоила подагра, хотя ее приступы было нетрудно предотвратить, ибо этот недуг являлся следствием неумеренности в еде и выпивке. С ним можно бороться при помощи поста, но в путешествии поститься трудно. Так что пользы от меня Его Королевскому Величеству было мало.

Король направлялся во Львов, а по пути встречался с местными вельможами, договариваясь с ними о поддержке и напоминая, что они являются его подданными, ибо преданность этой шляхты весьма сомнительна – она всегда печется о собственной выгоде, а не о благополучии Речи Посполитой. Нас, казалось бы, принимали достойно, потчевали щедро и с большой роскошью, но порой я чувствовал, что кое-кто здесь воспринимает Короля как просителя. И то сказать, что это за королевство, где правителя выбирают при помощи голосования! Где это видано?!

Война – явление страшное, адское, даже если бои как таковые не касаются человеческих поселений, она все же распространяется повсеместно, проникает под самую бедную стреху – голодом, болезнью, всеобщим страхом. Сердца грубеют, становятся равнодушными. Меняется сам способ мышления – каждый думает только о себе и о том, как выжить. Многие при этом ожесточаются и делаются невосприимчивы к чужому страданию. Сколько же я за это

путешествие с севера во Львов насмотрелся на творимое людьми зло, сколько видел насилия, зверства, неслыханного варварства. Целые деревни сожжены, поля превращены в пустоши, повсюду торчат виселицы, словно только этому призвано служить искусство столяра – изготовлению орудий убийства и преступления. Непогребенные человеческие тела растаскивают волки с лисами. В цене лишь огонь да меч. Все это я предпочел бы забыть, но и теперь, когда я вернулся на родину и пишу сии строки, перед глазами у меня встают картины, которые невозможно отогнать.

Вести до нас доходили все более удручающие, а февральское поражение региментария Чарнецкого в битве со шведами под Голембом так подействовало на здоровье Его Величества, что в конце концов нам пришлось остановиться на два дня, чтобы Король мог в покое восстановить нервные силы, принимая эгерскую воду и травяные отвары. Казалось, королевское тело отражает все недуги Речи Посполитой, словно связанное с ней таинственным родством. После той проигранной битвы, еще прежде, чем было доставлено письмо с известием, Короля поразила приступ подагры, сопровождавшийся лихорадкой и такой ужасной болью, что мы едва сумели ее обуздать.

Примерно в двух днях пути до Луцка, когда мы миновали сожженный несколько лет назад татарами Любешов и ехали через густые влажные леса, я осознал, что нет на земле более ужасного края, и стал сожалеть, что согласился предпринять сие путешествие. Ибо меня терзало глубокое предчувствие, что домой я не вернусь и что перед этими неизбывными болотами, этим влажным лесом, низким небом, лужами, затянутыми тонким льдом и напоминавшими раны поверженного великана, все мы – неважно, одетые бедно или богато, короли, вельможи, солдаты или крестьяне, все – ничто. Мы видели обглоданные пламенем стены костела, где дикари-татары заперли и сожгли живьем жителей деревни, леса виселиц и черные пепелища с обугленными телами людей и животных. Лишь тогда я вполне постиг королевский замысел – отправиться во Львов и в эту страшную пору, когда внешние силы разрывают Речь Посполитую на части, вверить страну опеке наиболее почитаемой и прославляемой здесь Марии, Богоматери, умоляя ее тем самым о заступничестве перед богом. Поначалу я удивлялся этой сосредоточенности на богоматери. Мне не раз казалось, будто местные жители почитают некую языческую богиню и – да не прозвучат мои слова богохульством – сам бог и сын его покорно следуют вслед за Марией в ее свите. Здесь каждая часовня возведена во славу Марии, так что к ее изображениям я привык настолько, что и сам начал обращать к ней молитвы в злое вечернее время, когда, озябшие и голодные, мы располагались на ночлег, уповая в глубине души, что она правит этим краем, тогда как у нас властвует

Иисус Христос. Ничего другого не оставалось, кроме как полностью довериться высшим силам.

В тот день, когда у Короля случился приступ подагры, мы остановились в имении пана Гайдамовича, луцкого подкомория. Это была деревянная усадьба, выстроенная на сухом островке среди болот, окруженная халупами дровосеков, немногочисленных крестьян и службы. Его Величество не вечерял, сразу же лег, но сон не шел, так что мне пришлось наслатъ его при помощи своих микстур.

Утро было настолько ясным, что вскоре после рассвета несколько вооруженных солдат из королевской свиты, желая чем-то заняться в ожидании отправления в дальнейший путь, углубились в чащу – якобы в погоне за дичью – и исчезли из виду. Мы ожидали увидеть нежную серну или фазанов, но наши охотники явились с добычей редкостной, заставившей всех нас без исключения утратить дар речи – включая заспанного Короля, который моментально пришел в себя.

Это были два ребенка, мелких и худых, бедно одетых, даже хуже, чем бедно, – в какую-то грубую холстину, рваную и грязную. Волосы у них свалились, что привлекло мое пристальное внимание, ибо передо мной был великолепный образец *plica polonica*. Детей связали наподобие серн и приторочили к седлам – я опасался, не повредило ли это им и не переломали ли солдаты тонкие детские косточки. Солдаты, однако, твердили, что иначе поступить было никак нельзя, так как дети кусались и лягались.

Пока Его Величество заканчивал завтрак, после которого предполагал также выпить травяной отвар, что позволяло надеяться на улучшение его настроения, я вышел к этим детям и, приказав сперва обмыть им лица, рассмотрел вблизи, следя при этом, чтобы они меня не укусили. Если судить по росту, я бы сказал, что им около четырех и шести лет, однако, поглядев на зубы, пришел к выводу, что они старше, просто мелкие. Девочка была крупнее и сильнее, мальчик же хиленький, худосочный, хотя бойкий и подвижный. Но более всего изумила меня их кожа. Она имела странный оттенок, какого я никогда прежде не видел – то ли молодого горошка, то ли итальянских оливок. Волосы же, которые свалившимися прядями свисали детям на лицо, были светлыми, но словно бы покрыты зеленым налетом, наподобие замшелых камней. Молодой Рычивольский сказал мне, что Зеленые дети, как мы их немедленно нарекли, – вероятно, жертвы войны, которых природа выкормила в лесу, как это порой случается, взять хотя бы историю о Ромуле и Реме. Область проявления природных сил огромна и значительно превосходит по размерам скромную человеческую делянку.

Король однажды спросил меня – мы тогда ехали через степь, из Могилева, на горизонте еще дымились подоженные деревни, на которые быстро наступал лес, – что такое природа. Согласно своему убеждению я ответил, что природа есть все, что нас окружает, исключая человеческое, то есть нас самих и творения рук наших. Король поморгал, словно стремясь убедиться в этом собственными глазами – что? уж он увидел, того не ведаю, – и промолвил:

– Природа есть великое ничто.

Полагаю, что так видят мир глаза тех, кто вырос при дворе, глаза, привыкшие смотреть на узорчатые венецианские ткани, причудливые орнаменты турецких ковров, искусное чередование плит и мозаику. Когда взгляд их обращается ко всей сложности природы, то видит там лишь хаос и это великое ничто.

В результате каждого пожара природа отбирает то, что взял у нее человек, а также смело прихватывает и самих представителей рода людского, пытаюсь вернуть их в естественное состояние. Но глядя на этих детей, можно было усомниться, существует ли в природе какой-то рай – скорее уж ад, такими они были дикими и истощенными. Его Величество необычайно заинтересовался детьми – велел приобщить их к багажу, чтобы отвезти во Львов и там подвергнуть тщательному исследованию, но в конце концов от идеи своей отказался, ибо обстоятельства внезапно изменились. Оказалось, что палец королевской стопы опух так сильно, что Его Величеству не удалось обуть сапог. Боль сильно терзала его – я видел на королевском лице капли пота. Мурашки побежали у меня по спине, когда я услышал мучительный стон правителя этого большого государства. Об отъезде не могло быть и речи. Я уложил Его Величество у печи и приготовил компрессы, велел также выгнать из покоев всех, кто мог оказаться ненужным свидетелем болезни Короля. Когда выносили этих несчастных детей, схваченных в лесу и связанных, словно ягнят, девочка каким-то непостижимым образом вырвалась из рук слуги и бросилась к больным стопам его величества. Она принялась натирать палец своими свалывшимися волосами. Потрясенный правитель жестом приказал не мешать ей. Спустя мгновение, к изумлению Короля, боль уменьшилась, после чего он велел детей хорошенько накормить и наконец одеть по-человечески, что и было исполнено. Однако когда мы паковали вещи и когда я совершенно невинным образом протянул руку, чтобы погладить мальчика по голове, как поступают с детьми во всех странах, он укусил меня в запястье так сильно, что выступила кровь.

Опасаясь какой-нибудь заразы, я направился к близлежащему ручью, чтобы промыть ранку. И там, у воды, неудачно поскользнувшись на болотистом, вязком берегу, рухнул на деревянные мостки, отчего на меня свалилась сложенная рядом поленница. Я ощутил страшную боль в ноге и взвыл как зверь. Подумал, что дела мои плохи, и потерял сознание.

Придя в себя – молодой Рычивольский похлопывал меня по щекам, – я увидел над собой потолок усадебных покоев, а вокруг обеспокоенные лица, в том числе лицо Его Величества – все они были странно вытянуты, колебались, плавали в тумане. Я понял, что у меня лихорадка и что я долгое время оставался без сознания.

– Боже мой, Дэвисон, что ж ты наделал? – склоняясь надо мной, обеспокоенно молвил Его Величество. Тщательно расчесанные кудри походного королевского парика коснулись моей груди, и даже это легкое прикосновение, казалось, причинило мне боль. Но и в такую минуту от моего внимания не укрылось, что лицо Короля прояснилось, капли пота исчезли, и он стоит передо мной в сапогах.

– Пора трогаться в путь, Дэвисон, – с тревогой произнес он.

– Без меня? – простонал я в отчаянии, содрогаясь от боли и ужаса, что останусь здесь один.

– Скоро прибудет лучший львовский лекарь...

Я зарыдал, скорее от отчаяния, чем от физических страданий.

Со слезами простился я с Его Величеством, и королевский кортеж отправился дальше. Без меня! Я остался с молодым Рычивольским, что хотя бы отчасти меня успокоило, нас обоих вверили заботам подкомория Гайдамовича. Вероятно, чтобы нам было веселее, оставили в усадьбе и Зеленых детей – возможно, надеясь как-то отвлечь меня, пока не прибудет спасение.

Оказалось, что перелом у меня двойной, к тому же весьма сложный. В одном месте кость пробила кожу, и требовалось недюжинное мастерство, чтобы привести все это в порядок. Сам я собой заняться не мог, ибо сразу терял сознание, хотя слышал о таких лекарях, что даже ампутацию себе делали. Прежде чем тронуться, Король выслал вперед гонца с приказом немедленно

отправить сюда лучшего львовского лекаря, но, по моим расчетам, тому потребовалось бы не менее двух недель, чтобы до меня добраться. Тем временем кости следовало сложить как можно скорее, так как, поразив ногу в этом влажном климате гангреной, мне никогда больше не увидеть французский двор, на жизнь при котором я так сетовал и который теперь, в этот драматический момент, казался мне центром настоящего мира, утраченным раем, прекраснейшим из снов. И никогда больше не увидеть холмов Шотландии...

В течение нескольких дней я принимал средства от боли, те же, которыми пользовался Король от подагры. Из Львова наконец прибыл гонец, но без лекаря, который был убит, попав по пути в руки татарской банды – их на здешних землях свирепствовало множество. Гонец заверил нас, что вскоре явится другой медик. Он также принес известия об обетах, которые Король, благополучно добравшись до Львова, торжественно дал в львовском соборе, вверяя Речь Посполитую заботам Богоматери, чтобы хранила страну от шведов, москалей, Хмельницкого и всех тех, кто накинулся на Польшу, точно волки на хромую серну. Я понимал, что забот у Его Величества множество, тем приятнее было, что вместе с посыльным Король прислал мне превосходную водку, несколько бутылок рейнского вина, меховую накидку и французское мыло – которому я особенно обрадовался.

Думаю, что мир состоит из окружностей, описанных вокруг одной точки. И что точка эта, именуемая центром мира, подвижна во времени – некогда ею были Греция, Рим, Иерусалим, а теперь это, вне всяких сомнений, Франция, точнее Париж. Вокруг него можно было бы начертить эти круги при помощи циркуля. Принцип простой: чем ближе к середине, тем более все кажется настоящим и осязаемым – и чем дальше, тем сильнее мир словно бы расползается, подобно истлевшему полотну во влажном климате. И еще – этот центр будто немного приподнят над миром, так что идеи, моды, изобретения стекают с него по склонам. В первую очередь все это впитывается в ближайшие круги, потом, уже слабее, в следующие, а мест наиболее отдаленных достигает лишь малая часть содержания. Я осознал это, лежа в усадьбе подкомория Гайдамовича, затерянной среди болот, вероятно в последнем из гипотетических кругов, вдали от центра мира, одинокий, словно изгнанник Овидий в Томи. И в горячке мне виделось, что, подобно Данте в его «Божественной комедии», я мог бы написать большой труд о кругах, но не на том свете, а на этом, о кругах Европы, каждый из которых борется со своим грехом и свое несет наказание. Это была бы поистине великая комедия тайных игр, нарушаемых союзов, комедия, в которой роли меняются прямо по ходу спектакля и до конца не известно, *qui pro quo*[8 -

Кто есть кто (лат.).]. Повесть о мании величия одних, о равнодушии и самовлюбленности других, об отваге и жертвенности немногих, хотя, возможно, и более многочисленных, нежели нам представляется. Героев, действующих на этой сцене, именуемой Европой, объединяла бы вовсе не религия, как некоторые полагают, – ведь религия скорее разделяет, с чем трудно поспорить, если вспомнить количество убитых по религиозным причинам, взять хотя бы нынешние войны. Их связывало бы в этой комедии нечто иное – ибо финал должен быть счастливым и благополучным – вера в здравый рассудок и разум этого великого творения божия. Бог даровал нам чувства и разум, чтобы исследовать с их помощью мир и знания свои приумножать. Европа там, где царит разум.

Такие мысли клубились в моей голове в моменты прояснения сознания. Однако в последующие дни меня большей частью терзала лихорадка, а поскольку львовский лекарь все не появлялся, хозяева, по договоренности с юным Рычивольским, взявшим на себя заботу обо мне, послали на болота за какой-то бабкой. Та, немая, явилась вместе со своим помощником и, предварительно влив в меня бутылку водки, вправила ногу и сложила сломанные кости. Все это взволнованно рассказал мне впоследствии мой молодой друг, так как сам я ничего не помнил.

Когда после этой процедуры я пришел в себя, солнце стояло уже высоко. Вскоре наступила Пасха. В Гайдамовичи приехал ксендз, чтобы отслужить в усадебной часовне праздничную службу, заодно он крестил Зеленых детей, о чем с волнением поведал мне мой друг, добавив, что в усадьбе болтают, будто причиной несчастья явилось заклятье, брошенное на меня этими существами. В такие бредни я не верил и повторять их запретил.

Как-то вечером Рычивольский привел ко мне эту девочку, она была уже чистой и опрятно одетой, к тому же вела себя совершенно спокойно. Рычивольский, с моего согласия, велел ей потереть свалаявшимися прядями мою больную ногу, точно так же, как ранее королевский палец. Я зашипел от боли, которую причиняло даже легкое прикосновение волос, но мужественно все выдержал, и постепенно боль стала ослабевать и отек будто бы уменьшился. Девочка повторила эту процедуру трижды.

Через несколько дней, когда стало по-весеннему тепло, я попытался встать. Костыли, которые для меня выстругали, были очень удобными, так что я дошел до крыльца, где провел всю вторую половину дня, стосковавшись по свету и

свежему воздуху. Я наблюдал за суетой в жалком хозяйстве подкомория. Усадьба была, правда, богатая и большая, но конюшни и хлева, казалось, происходили из весьма отдаленного круга цивилизации. С печалью я осознал, что застрял здесь надолго и, дабы выдержать это изгнание, должен найти себе какое-нибудь занятие, ибо только таким образом сумею не впасть в меланхолию в сем влажном болотистом краю и сохранить надежду на то, что милосердный бог рано или поздно позволит мне вернуться во Францию.

Рычивольский приводил ко мне этих диких детей, которых Гайдамовичи приютили, не зная, как с ними поступить в сей глуши, да еще во время войны, а также предполагая, что его королевское величество может рано или поздно поинтересоваться их судьбой. Детей держали запертыми на ключ в сарае, где хранилось множество вещей – как нужных, так и ненужных. Поскольку он был сколочен из плохо пригнанных досок, дети сквозь щели могли наблюдать за происходящим. Оправлялись они возле дома, присев на корточки, ели руками, с жадностью, однако мяса не признавали и выплевывали. Также не признавали они кроватей и мисок с водой. Испугавшись чего-либо, бросались на землю и, встав на четвереньки, норовили укусить, а когда их ругали, сворачивались в клубок и надолго замирали. Между собой объяснялись какими-то хриплыми звуками, а едва выглядывало солнце, сбрасывали с себя одежду и подставляли тело солнечному теплу.

Молодой Рычивольский счел, что дети развлекут и займут меня, ибо, будучи ученым, я захочу изучить их и описать, а это поможет отвлечь мысли от сломанной ноги.

Он был прав. Мне казалось, что эти маленькие странные существа испытывают своего рода угрызения совести, глядя на мою забинтованную после укуса руку и обездвиженную в лубке ногу. Со временем девочка стала мне доверять и однажды позволила более подробно себя осмотреть. Мы сидели у нагретой солнцем стены сарая. Природа ожила; неизбывный запах сырости стал менее ощутим. Я осторожно повернул лицо девочки к свету и взял в руки несколько прядей ее волос – они казались теплыми, словно бы шерстяными, понюхав их, я обнаружил, что они пахнут мхом; казалось, в них вросли какие-то лишайники. Кожа девочки, когда я рассмотрел ее вблизи, оказалась вся покрыта маленькими темно-зелеными точечками, которые я прежде, не имея возможности разглядеть внимательно, принимал за грязь. Нас с Рычивольским это очень удивило – мы решили, что в девочке есть нечто растительное. Мы предположили, что она потому раздевается и подставляет тело солнцу, что, подобно всякому растению,

нуждается в солнечном свете, которым питается через кожу, а помимо него практически не нуждается в пище, довольствуясь хлебными крошками. Ее, впрочем, нарекли по-польски Середкой – словом, выговорить которое мне было трудно, но звучало которое красиво. Означает оно хлебный мякиш, так что его можно также отнести к тому, кто такой мякиш выедает из куска хлеба, оставляя корочку нетронутой.

Рычивольский, все более увлекавшийся Зелеными детьми, сказал мне, что слышал, как девочка поет. Правда, как следовало из его рассказа, это скорее походило на мурлыканье, однако свидетельствовало о том, что горло у детей нормальное, а отсутствие речи объясняется иными причинами. Я также определил, что по строению тела они ничем не отличаются от обычных детей.

– А может, мы каких-то эльфов польских поймали? – пошутил я однажды.

Молодой Рычивольский возмутился, что я принимаю его за дикаря: он, мол, в такие байки не верит.

Мнения обитателей усадьбы относительно того, как следует поступать с *plisa rolonisa*, то есть колтуном, расходились. А этот к тому же был зеленым! Многие считали, что колтун есть проявление внутренней болезни, которую это образование вытягивает наружу. Если его отрезать, болезнь вернется в тело и убьет человека. Другие же, в том числе подкоморий Гайдамович, полагавший себя человеком светским, утверждали, что колтун следует срезать, поскольку он является источником вшей и прочей живности.

Однажды подкоморий даже велел принести ножницы для стрижки овец и избавиться от этих зеленоватых прядей. Мальчик в ужасе спрятался за сестру (я так думаю, что это была его сестра), но девочка повела себя смело и даже дерзко – вышла вперед, устремила на подкомория взгляд и не отводила его, пока Гайдамович не смешался. При этом горло ее издавало урчание, словно у дикого зверя, а губы раздвинулись, обнажив кончики зубов. Во взгляде девочки была какая-то инакость, словно она не знала наших порядков и смотрела на нас так, как смотрят животные – немного насквозь. С другой стороны, была в этом также неожиданная уверенность в себе, взрослая, так что на мгновение я увидел в ней не ребенка, а старуху-карлика. У всех у нас мурашки пробежали по спине, а подкоморий велел отказаться от идеи постричь детей.

К сожалению, как-то ночью, вскоре после крестин в деревянном, похожем на курятник костеле, мальчик заболел и, к нашему большому удивлению и ужасу, скоропостижно умер, что вся прислуга сочла свидетельством его дьявольского происхождения – кого же, как не черта, могла убить святая вода?! А что не сразу – что ж, зло боролось за свои права... Summa summarum[9 - Здесь: в итоге (лат.).] решили, что в судьбу Зеленых детей вмешались высшие силы.

Как раз в тот день болота вокруг усадьбы огласились странными звуками, издаваемыми то ли птицами, то ли лягушками и напоминавшими траурный оркестр. Маленькое детское тело обмыли, одели и положили на погребальные носилки. Вокруг расставили свечи. Мне как лекарю позволили по этому случаю еще раз осмотреть тело, и сердце у меня на мгновение сжалось при виде малыша. Лишь тогда, увидев обнаженным, я воспринял его как ребенка, а не какую-то диковинку, и подумал также, что, подобно всякому живому существу, это дитя, несомненно, имело мать и отца – где они теперь? Скучают ли, беспокоятся ли?

Быстро справившись с этими эмоциями, недостойными ученого медика, и внимательно осмотрев мальчика, я пришел к выводу, что ребенку, вероятно, повредило слишком раннее купание в ледяном ручье, оттого настигла его смерть. Я также пришел к выводу, что в нем нет ничего необычного, кроме цвета кожи, который приписал долгому пребыванию в лесу, среди сил природы. Видимо, кожа приспособилась к окружающей среде, ведь крылья некоторых птиц напоминают кору деревьев, а кузнечики – траву. Природа знает множество подобных соответствий. Кроме того, она устроена таким образом, что для каждого недуга существует натуральное снадобье. Об этом писал человек, являющийся для меня примером, великий Парацельс, и теперь я то же самое твердил юному Рычивольскому.

В первую же ночь тело мальчика пропало. Оказалось, что дежурившие подле него женщины, одурманенные дымом кадила, ушли после полуночи спать, а поднявшись на рассвете, обнаружили, что тело бесследно исчезло. Нас разбудили, повсюду зажгли свет, ужас и трепет обуяли всех. Слуги моментально разнесли слухи, будто маленький зеленый черт, использовав магию, лишь притворился мертвым, а когда вокруг носилок никого не было, ожил и вернулся к своим, в лес. Кто-то предположил, что он может отомстить за пленение, поэтому все бросились запирает двери на засов, усадьбу охватила паника, словно нам грозил набег татар. Середку, на удивление безучастную, в разорванной и грязной одежде, что наводило на некоторые подозрения,

посадили под замок. Мы с молодым Рычивольским тщательно все осмотрели: в самой комнате на полу осталось несколько полос, словно кто-то тащил тело, а снаружи паника сделала свое дело и ничего разобрать было уже невозможно – следы затоптали. Похороны отменили, носилки убрали, а свечи спрятали в сундуки – до следующей оказии. Пусть бы только она не наступила слишком быстро! Несколько дней, как я уже говорил, мы жили в усадьбе, словно на осадном положении, но на этот раз не турок или москаль стали причиной охватившего нас страха – сей страх был каким-то диковинным, листовенно-зеленоватым, от него исходила вонь болот и лишайников. Страх липкий, бессловесный, путавший мысли и направлявший их к папоротникам, топким болотам. Насекомые, казалось, наблюдали за нами, а таинственные лесные звуки напоминали переключку и плач. И все, слуги и господа, собирались в главной комнате, которую тут называли «светлица», где без аппетита ели скромный ужин и пили водку, но не веселья ради, а от тревоги и беспокойства.

Окрестные леса со все большей силой источали весну, которая изливалась на болота, так что вскоре те стали желтыми от цветов на толстых стеблях, водяных лилий невиданных форм и расцветок, а также от плавающих растений с большими листьями, названия которых я не знал, отчего, будучи ботаником, испытывал стыд. Молодой Рычивольский изо всех сил старался меня развлечь, но что можно придумать в этих обстоятельствах? Книг здесь у нас не было, а небольшой запас бумаги и чернил позволял разве что делать наброски растений. Все чаще мой взгляд обращался к той девочке, Середке, которая теперь, оставшись без брата, потянулась к нам. Особенно она привязалась к молодому Рычивольскому, за которым ходила неотступно – я даже заподозрил, что неверно оценил ее возраст. Попытался разглядеть в ней какие-то признаки ранней женственности, но тело было детским, худым, без каких бы то ни было округлостей. Хотя Гайдамовичи дали ей красивую одежду и сапожки, она, едва выйдя из дому, осторожно все снимала и аккуратно складывала у стены сарая. Вскоре мы начали учить Середку говорить и писать. Я рисовал и показывал ей животных, надеясь, что девочка подаст голос. Она смотрела внимательно, но у меня было ощущение, что взгляд ее скользит по поверхности бумаги, не проникая в суть. Взяв в руку уголек, девочка могла нарисовать кружок, но это ей быстро наскучило.

Здесь следует сказать несколько слов о молодом Рычивольском. Его звали Феликс, и имя очень ему подходило, ибо это был человек, ощущавший себя счастливым в любой ситуации, неизменно находившийся в хорошем настроении,

исполненный, несмотря на все злоключения, добрых намерений. А злоключения были таковы: всю его семью вырезали москали – отцу распороли живот, а сестру и мать жестоко изнасиловали. Не знаю, как ему удалось сохранить рассудок, а ведь он ни разу не уронил ни слезинки, ни разу не впал в меланхолию. Он уже многому от меня научился, не напрасны оказались старания Его Величества, чтобы рядом с юношей находился хороший – если подобает так выразиться о себе – учитель. Этот светловолосый, голубоглазый человек, худощавый, некрупный, проворный, имел все шансы сделать большую карьеру, если бы не последующие события, которые мне предстоит описать. Именно молодой Рычивольский еще более меня – не способного выйти за пределы двора, отяжелевшего от польской кухни – интересовался феноменом *plisa polonica*, который здесь, в Гайдамовичах, был неразрывно связан с Середкой.

Летом, в июльскую жару, мы узнали из писем, что Варшаву отбили от шведов, и я уже надеялся, что все вернется на круги своя, а я поправлюсь достаточно, чтобы присоединиться к Его Королевскому Величеству и заняться его подагрой. Пока о подорванном здоровье Короля заботился другой лекарь, что наполняло меня тревогой. Лечение ртутью, которое я хотел применить, было еще мало распространено. Искусство врачевания в Польше не слишком развито, доктора не ведают о последних открытиях в области анатомии и аптекарских наук, уповают на какие-то древние методы, скорее из области народной мудрости, нежели являющиеся плодом тщательных изысканий. Но я бы поступился честностью, утаив убеждение, что даже при великолепнейшем дворе Людовика мало кто из медиков не является *de facto*[10 - На деле (лат.)] шарлатаном, ссылающимся на мнимые изобретения и исследования.

К сожалению, нога моя срасталась плохо, и я все еще не мог на нее наступить. Приходила та бабка – шептуха, как ее тут называли, – и натирала ослабевшие мышцы какой-то вонючей коричневой жидкостью. В это время мы получили печальную весть, что шведы снова заняли Варшаву и грабят ее немилосердно. Меня посещали мысли о милости судьбы, о том, что не случайно я оказался оставлен выздоравливать здесь, среди этих болот, что бог предназначил мне эту участь, дабы спрятать в безопасном месте от насилия, войны и человеческого безумия.

Примерно через две недели после святого Христофора, праздника, который здесь, на болотах, отмечался весьма торжественно – что понятно, поскольку этот святой перенес маленького Иисуса через воду на сухую землю, – мы

впервые услышали голос Середки. Сначала она обратилась к молодому Рычивольскому, а когда тот, изумленный, спросил ее, почему она до той поры молчала, ответила, что никто ее ни о чем не спрашивал, что, в общем, было правдой, поскольку мы сразу решили, что она не умеет говорить. Я очень жалел, что плохо владею польским, ибо немедленно расспросил бы Середку о множестве вещей, но и Рычивольский понимал ее с трудом, так как она изъяснялась на каком-то местном русинском диалекте... Девочка произносила отдельные слова или короткие фразы и останавливала на нас взгляд, словно проверяя их силу или требуя от нас подтверждения. Голос у нее был словно бы чужой – низкий, точно мужской, никак не голос маленькой девочки. Когда, указывая на предмет пальцем, она говорила: «дерево», «небо», «вода», мне становилось не по себе, ибо это звучало так, будто слова, означающие эти простые элементы, имели потустороннее происхождение.

Лето было в разгаре, так что болота высохли, но никто этому особенно не радовался, поскольку это обстоятельство делало их проезжими для всех, так что Гайдамовичам постоянно угрожали набеги распоясавшихся вследствие непрестанно введущихся войн бандитов и разбойников – в такое время трудно разобраться, кто с кем заодно и чью сторону держит. Однажды на нас напали москали; Гайдамовичу пришлось с ними договариваться и дать отступные. В другой раз мы отразили нападение шайки мародеров. Молодой Рычивольский взялся за оружие и застрелил нескольких головорезов, что все сочли большим героизмом.

В каждом пришельце я ожидал увидеть королевского посланца, мечтая, чтобы Его Величество забрал меня к себе, но ничего подобного не происходило, поскольку война продолжалась, и Король мужественно двигался вслед за своей армией, вероятно, позабыв о своем иноземном лекаре. Я бы присоединился к нему, не дожидаясь вызова, однако не мог самостоятельно даже взобраться на лошадь. Погруженный в эти печальные мысли, я наблюдал со своей скамеечки, как вокруг Середки собирались с каждым днем все более многочисленные молоденькие служанки из усадьбы, крестьянские дети, а порой и хозяйский сын и дочери Гайдамовича – и все слушали ее болтовню.

– О чем же они там совещаются? Что говорят? – расспрашивал я Рычивольского, который поначалу подслушивал, а затем стал уже открыто подсаживаться к этой странной компании. А потом, укладывая меня спать и втирая небольшими руками в заживающие раны вонючую мазь от шептухи, чье снадобье оказалось весьма действенным, все мне пересказывал.

– Она говорит, что в лесу, далеко за болотами, есть край, где луна светит так же ярко, как солнце, более тусклое, чем наше. – Пальцы Рычивольского осторожно касались моей бедной кожи, слегка массировали бедро для улучшения кровообращения. – В краю этом люди живут на деревьях, а спят в дуплах. На протяжении лунного дня они забираются на самые верхушки деревьев и там подставляют обнаженные тела луне, отчего их кожа зеленеет. Благодаря этому свету они не нуждаются в обильной пище и довольствуются лесными ягодами, грибами и орехами. А поскольку им не приходится обрабатывать землю и строить жилье, любая работа выполняется ради удовольствия. Там нет ни правителей, ни хозяев, нет крестьян и священников. Когда им нужно что-то предпринять, они собираются на одном дереве и совещаются, а затем поступают так, как порешили. Если кто-то уклоняется, его оставляют в покое – потом сам вернется. Если кто-то кому-то нравится, то остается с ним на некоторое время, а когда чувство иссякает, уходит к другому. От этого рождаются дети. Когда появляется на свет ребенок, все становятся ему родителями и все охотно нянчат. Порой, если забраться на самое высокое дерево, они могут увидеть маячащий вдали наш мир, дым сожженных деревень, почувствовать смрад сожженных тел. Тогда они побыстрее прячутся обратно в листву, ибо не желают отравлять глаза подобными картинками, а нос – подобными запахами. Яркость нашего мира их отвращает и отталкивает. Они полагают его своего рода миражом, так как ни татары, ни москали до них не добрались. Считают, что мы ненастоящие, что-то вроде дурного сна.

Как-то Рычивольский спросил Середку, верят ли они в бога.

– А что такое бог? – ответила она вопросом на вопрос.

Это всем показалось странным, но, кажется, также и привлекательным: жизнь без сознания существования бога была бы проще, не пришлось бы задаваться этими мучительными вопросами: отчего бог допускает столь чудовищные страдания всего сущего, если он добр, милосерден и всемогущ?

Однажды я велел спросить, как этот зеленый народ проводит зиму. Ответ Рычивольский принес в тот же вечер и, терзая мое злосчастное бедро, рассказывал, что зиму они вообще не замечают, ибо как только наступают первые холода, собираются в самом большом дупле самого большого дерева и там, прижавшись друг к другу словно мыши, погружаются в сон. Постепенно их тело покрывается густым мехом, защищающим от холода, а вход в дупло зарастает большими грибами, так что и снаружи они становятся невидимы. Сны

у них общие, то есть если кому-то что-то снится, то другой словно бы видит это в своей голове. Поэтому они никогда не скучают. Зимой они очень тощат, поэтому, когда становится тепло и восходит первая весенняя луна, все забираются на верхушки деревьев и там целыми лунными днями подставляют лунному свету свои бледные тела, пока те не приобретут здоровый зеленый цвет. Кроме того, они умеют находить общий язык с животными, а поскольку не едят мяса и не охотятся, те дружат с ними и оказывают помощь. Кажется, даже рассказывают им свои звериные истории, что позволяет этим людям стать мудрее и лучше познать природу.

Все это показалось мне народными байками, я даже задумывался, уж не сочиняет ли эти истории сам Рычивольский, так что однажды при помощи слуги прокрался туда, чтобы подслушать Середку. Должен признать, что девочка говорила вполне бегло и смело, и все слушали ее в молчании, однако не приукрашивал ли Рычивольский каким-либо образом ее рассказы, я определить не смог. Однажды я велел спросить ее о смерти. Рычивольский принес мне следующий ответ:

– Они считают себя плодами. Человек есть плод, утверждают они, и его должны съесть животные. Поэтому своих умерших они привязывают к веткам деревьев и ждут, пока тело растерзают птицы и лесное зверье.

В середине августа, когда болота высохли еще больше, а дороги стали твердыми, появился наконец в Гайдамовичах столь долго мною ожидаемый посланец Короля. Он прибыл с удобной повозкой, несколькими вооруженными солдатами, а также письмами и подарками для меня: новой одеждой и благородными напитками. Эта королевская щедрость так меня растрогала, что я не смог сдержать слез. Радость моя была велика, ибо через несколько дней нам предстояло отправиться обратно в большой мир. Хромая и подпрыгивая, я то и дело целовал Рычивольского, наскучив этой усадьбой, спрятанной в лесах и болотах, этой гниющей листвой, этими мухами, пауками, комарами, лягушками, жуками всех мастей, вездесущей сыростью, запахом ила, густым дурманящим ароматом зелени. Все это мне уже претило. Труд о *plisa rolonisa* я, в сущности, завершил и полагал, что в значительной степени развенчал мифы, связанные с этим явлением. Я также описал несколько местных растений. Чего же еще желать?

Молодой Рычивольский, однако, в отличие от меня, не радовался приближающемуся отъезду. Он вел себя беспокойно, куда-то исчезал, а

вечерами только сообщал мне, что идет под липу поговорить, утверждая при этом, что ведет собственные исследования. Мне бы следовало догадаться, но я был так ошеломлен близостью отъезда, что ничего не заподозрил.

Полнолуние выпало на первые дни сентября, а я в полнолуние всегда плохо сплю. Луна поднялась над лесами и болотами, такая огромная, что могла наводить ужас. Это была одна из последних ночей перед отъездом – хотя я до этого целый день паковал свои гербарии и ощущал усталость, но уснуть не мог и ворочался с боку на бок. Мне казалось, что где-то в глубине дома я слышу какие-то шепоты, топот маленьких ног, шорох, подозрительное звяканье дверных засовов. Я думал, что мне это чудится, но утром оказалось – ничуть. Все дети и вся молодежь исчезли из усадьбы бесследно, в том числе дети подкомория, четыре девочки и мальчик – общим счетом тридцать четыре человека, все потомство местных жителей; остались только грудные младенцы... Исчез также милый Рычивольский, которого я уже видел при себе на французском дворе.

Это был страшный день для Гайдамовичей, женский плач возносился к небесам. Мысль, будто это дело татар, которые, как известно, детей берут в ясир, быстро отбросили – слишком тихо все произошло. Заподозрили происки нечистой силы. В полдень мужчины, наточив у кого что было – косы, серпы, мечи, многократно осенив себя крестным знаменем, стройными рядами отправились на поиски пропавших. Однако ничего не нашли. Под вечер в лесу близ усадьбы, высоко на дереве юноши обнаружили детское тело; люди подняли страшный крик, догадавшись по савану, что это тот Зеленый мальчик, умерший весной. От него уже мало что осталось, птицы сделали свое дело.

Селение утратило все, что было свежим и юным, – утратило свое будущее. Лес стеной стоял вокруг Гайдамовичей, словно армия самого мощного королевства на земле и словно теперь именно его герольды оглашали отступление. Куда? В последний, бесконечно великий круг мира, вне сени листвы, вне пятна света, в вечную тень.

Я ожидал возвращения молодого Рычивольского еще три дня, наконец оставил ему записку: «Если вернешься, приезжай ко мне, где бы я ни был». К этому моменту все мы в Гайдамовичах поняли, что молодежь уже не вернется, что она ушла в лунный мир. Когда королевский экипаж тронулся, я плакал, но не из-за докучавшей мне боли в ноге, а от какого-то глубокого волнения. Итак, я покидал последний круг мира, его отвратительные сырые рубежи, его никем не запечатленную боль, его размытые неясные горизонты, за которыми существует

лишь Великое Ничто. И снова направлялся в центр, туда, где все моментально приобретает смысл и слагается в гармоничное целое. Сегодня записываю то, что там, на рубежах, увидел, правдиво, так, как оно было, ничего не прибавляя, ничего не убавляя; и рассчитываю, что Читатель поможет мне понять, что? там тогда произошло и что мне понять трудно, ибо периферия мира всегда оставляет на нас печать загадочного бессилия.

## Банки с домашними заготовками

Когда она умерла, он устроил ей приличные похороны. Пришли все ее подруги, уродливые пожилые женщины в беретах, в пахнущих нафталином шубах с нутриевыми воротниками, из которых их головы торчали большими бледными шишками. Когда гроб на мокрых от дождя веревках съехал вниз, они принялись сдержанно всхлипывать, а потом, разбившись на группки, под куполами складных зонтиков самых неправдоподобных расцветок двинулись к автобусным остановкам.

В тот же вечер он открыл сервант, где она держала документы, и стал искать... сам не зная, что именно. Деньги. Акции. Облигации. Какой-нибудь полис «Спокойная старость», из тех, которые постоянно рекламируют по телевизору под аккомпанемент осенних сцен, полных палой листвы.

Он обнаружил лишь старые сберкнижки шестидесятых и семидесятых годов, а также партийное удостоверение отца, который благополучно умер в восемьдесят первом году, в полной уверенности, что коммунизм является порядком метафизическим и вечным. Там также лежали его детсадовские рисунки, старательно сложенные в картонную папку на резинке. Это его тронуло. Он бы никогда не подумал, что она может хранить его рисунки. Еще там хранились ее тетрадки, заполненные рецептами пикулей, маринадов и варенья. Каждый начинался с новой страницы, название было украшено робкими завитушками – кухонным воплощением эстетических потребностей. «Пикули с горчицей», «Маринованная тыква ? Ia Диана», «Авиньонский салат», «Боровики по-креольски». Порой встречалось что-нибудь более экстравагантное: например, «Желе из яблочной шкурки» или «Аир в сахаре».

Это надоумило его спуститься в подвал. Он не был там уже много лет. Но она, его мать, любила там бывать, что его почему-то никогда не удивляло. Когда ей казалось, что он слишком громко включает телевизор во время трансляции матча, когда все более жалобные сетования не давали результата, он слышал звяканье ключей, затем звук захлопнувшейся двери, и мать исчезала на долгие благословенные часы. Тогда он мог уже беспрепятственно предаваться любимому занятию: опорожнению бесконечных банок пива и созерцанию двух групп мужчин, одетых в цветные майки и перемещающихся в погоне за мячом с одной половины стадиона на другую.

Порядок в подвале царил феноменальный. Здесь лежал маленький вытертый коврик – о да, знакомый с детства – и стояло плюшевое кресло; на нем он увидел аккуратно сложенный вязаный плед. Обнаружились здесь также торшер со столиком и несколько зачитанных до дыр книг. Однако головокружительное впечатление произвели на него полки, заставленные поблескивающими банками с домашними заготовками. На каждой была самоклеющаяся этикетка, названия, как он заметил, повторяли те, что он прочитал в тетрадях с рецептами: «Корнишоны в маринаде от пани Стаси, 1999», «Перец на закуску, 2003», «Смалец от пани Зоси». Некоторые звучали таинственно, например «Фасоль спаржевая аппертизованная» – он никак не мог вспомнить, что значит «аппертизация». Вид плотно уложенных в банку бледных грибов, разноцветных овощей и кровавых перчиков возродил в нем желание жить. Он бегло осмотрел полки, но не нашел спрятанных за рядами банок ценных бумаг или денег. Похоже, мать ничего ему не оставила.

Он расширил свое жизненное пространство за счет ее комнаты – здесь он теперь бросал грязные шмотки и складывал ящики с пивом. Время от времени приносил себе снизу коробку домашних заготовок, отработанным движением открывал одну банку за другой и вилкой выгребал содержимое. Под пиво орешки, соленая соломка с маринованным перцем или маленькими нежными, словно новорожденные младенцы, корнишонами шли отлично. Он сидел перед телевизором, созерцая свою новую жизненную ситуацию, обретенную свободу. Ему казалось, что он только что сдал выпускные экзамены, и все впереди; что начинается новая, лучшая жизнь. А ведь он был уже не мальчик, в прошлом году стукнуло пятьдесят, однако чувствовал себя молодо, точь-в-точь вчерашний школьник.

Хотя деньги от последней пенсии покойной матери потихоньку заканчивались, он считал, что время на принятие правильных решений еще есть. Пока он

постепенно съест то, что она оставила ему в наследство. Покупать будет разве что хлеб и масло. И, разумеется, пиво. Потом, может, действительно поищет какую-нибудь работу, с чем она приставала к нему на протяжении последних двадцати с лишним лет. Возможно, сходит на биржу труда – для пятидесятилетнего выпускника школы вроде него наверняка что-нибудь найдется. Возможно, он даже наденет светлый костюм, старательно ею отглаженный и висящий в шкафу вместе с голубой рубашкой, и отправится в город. Если только по телевизору не будет трансляции какого-нибудь матча.

Он был свободен. Но ему немного не хватало шороха материнских тапочек, он привык к этому монотонному звуку, как правило, сопровождавшему ее тихим голосом: «Да оставил бы ты наконец этот телевизор, пошел бы куда-нибудь, познакомился с девушкой. Ты так и собираешься провести оставшуюся жизнь? Тебе нужна собственная квартира, вдвоем здесь тесно. Люди женятся, детей заводят, в отпуск ездят с палаткой, гостей на гриль приглашают. А ты что? Не стыдно тебе сидеть на шее у старой больной матери? Сначала твой отец, а теперь ты, все вам выстирай, выглади, в магазин сходи. Мне телевизор мешает, я спать не могу, а ты сидишь перед экраном до самого утра. Что ты там смотришь целыми ночами, как тебе не надоест?» Так она сетовала часами, в конце концов он купил себе наушники. Это был неплохой выход: она не слышала телевизор, а он – ее.

Однако теперь сделалось как-то слишком тихо. Ее комнату, прежде идеально прибранную, всю в салфеточках и сервантах, постепенно заполняли груды пустых коробок, банок, грязной одежды, к которым прибавился еще какой-то странный запах – сопревших простыней, штукатурки, тронутой языком плесени, замкнутого пространства, которое, не нарушаемое сквозняком, начинает портиться и бродить. Однажды, роюсь в шкафу в поисках чистых полотенец, он обнаружил в глубине очередную батарею домашних заготовок; те стояли, упрятанные под стопки белья, прижавшиеся к моткам шерсти – партизаны, пятая баночная колонна. Он внимательно их осмотрел; от тех, подвальных, они отличались возрастом. Надписи на этикетках немного выцвели, в основном повторялись 1991 и 1992 годы, но попадались и отдельные экземпляры постарше – например, 1983 года, а один даже 1978-го. Он-то и оказался главным источником неприятного запаха. Металлическая крышка проржавела, внутрь проник воздух, одарив взамен окружающее пространство ароматом тлена. Что бы ни находилось когда-то в банке, теперь оно превратилось в коричневую массу. Он с отвращением все выбросил. Надписи на этикетках были одни и те же, вроде «Тыквы в черносмородиновом пюре» или «Черной смородины в тыквенном пюре». Плюс вконец поседевшие корнишоны. Если бы не любезная и

услужливая надпись, идентифицировать содержимое многих банок было бы уже никому не под силу. Маринованные грибы превратились в мрачное загадочное желе, джемы – в черную массу, а паштеты сваялись в засушенный комок. Очередные домашние заготовки он отыскал в шкафчике для обуви и под ванной. Таились они и в тумбочке у кровати. Он был потрясен этой коллекцией. Прятали ли она еду от него или делала эти запасы для себя, рассчитывая, что сын в конце концов съедет? А может, оставила их именно ему, предполагая, что уйдет первой, – матери, согласно законам природы, умирают раньше сыновей... Может, хотела этими банками обеспечить его будущее? Он рассматривал очередные заготовки со смесью растроганности и отвращения. И наконец наткнулся на банку (в кухне, под раковиной) с надписью «Шнурки в уксусе, 2004», – это должно было его встревожить. Он смотрел на свернутые в клубок, плавающие в маринаде коричневые веревочки и черные шарики перца. Ему стало не по себе, не более того.

Он вспомнил, как мать поджидала момент, когда он снимет наушники и пойдет в ванную; тогда она поспешно выскальзывала из кухни и преграждала ему путь. «Все птенцы покидают гнезда, таков порядок вещей, родителям полагается отдых. Вся природа живет по этому закону. Так что ж ты меня мучаешь, тебе уже давно пора съехать и устроить свою жизнь», – причитала она. Когда он пытался осторожно ее обойти, хватала его за рукав, голос делался еще выше и еще писклявее: «Я заслужила спокойную старость. Дай мне, наконец, покой, я хочу отдохнуть». Однако он был уже в ванной, поворачивал ключ в замке и предавался своим мыслям. Она снова пыталась его перехватить, когда он возвращался, но гораздо менее уверенно. Потом незаметно растворялась в своей комнате, и там след ее терялся до следующего утра, когда она нарочно принималась греметь кастрюлями, чтобы его разбудить.

Но ведь известно, что матери любят своих детей; на то они и матери – чтобы любить и прощать.

Так что эти шнурки его не беспокоили, как и губка в томатном соусе, обнаруженная затем в подвале... Банка, впрочем, была честно подписана: «Губка в томатном соусе – 2001». Он открыл, чтобы проверить, совпадает ли содержимое с надписью, и выбросил все в помойное ведро. Эти чудачества он не считал злым умыслом, предусмотрительно адресованным в будущее, ему лично. Попадались ведь и подлинные сокровища. В одной из последних банок на верхней полке в подвале оказалась вкуснейшая ветчина. У него до сих пор

слюнки текли при воспоминаниях о свекле со специями, которую он обнаружил в комнате за занавеской. За два дня он проглотил несколько баночек. А на десерт выедал пальцем прямо из банки айвовое варенье.

На матч Польша – Англия он приволок из подвала целую коробку домашних заготовок. Окружил ее батареей пива. Брал из коробки, не глядя, и пожирал, едва обращая внимание на то, что ест. Одна баночка привлекла его внимание, потому что мать сделала на этикетке смешную ошибку: «Грипки маринованные, 2005». Вилкой он извлекал белые нежные шляпки, клал в рот, а те как живые проскальзывали через горло прямо в желудок. Гол, еще один, он и не заметил, как все съел.

Ночью ему пришлось встать в туалет, где он склонился над унитазом, сотрясаемый позывами к рвоте. Ему казалось, что мать стоит рядом и стенает этим своим несносным писклявым голосом, но потом он вспомнил, что она умерла. Его рвало до самого утра, но рвота не принесла облегчения. Из последних сил ему удалось вызвать «Скорую». В больнице хотели сделать пересадку печени, но не нашли донора, так что он, не приходя в сознание, умер спустя несколько дней.

Возникла проблема – некому оказалось забрать тело из морга и устроить похороны. В конце концов на призыв полиции откликнулись и занялись телом материны подруги, эти уродливые пожилые женщины в причудливых беретах. Раскрыв над могилой зонтики абсурдных расцветок, они совершили свои милосердные погребальные обряды.

## Швы

Все это началось однажды утром, когда пан Б., выпутавшись из пододеяльника, посеменил, как обычно, в ванную. В последнее время он плохо спал, его ночи рассыпались на мелкие кусочки, точь-в-точь как бусы покойной жены, которые он недавно обнаружил в ящике стола. Взял их в руку, истлевшая нитка порвалась, и поблекшие шарики раскатились по полу. Большую их часть найти не удалось, и с тех пор в бессонные ночи он частенько размышлял, где они ведут свое круглое бездумное существование, в каких комках пыли примостились и

какие щели в полу стали им убежищем.

Утром, сидя на унитазе, он увидел, что его носки, оба, имеют по центру шов – аккуратный машинный шов, от пальцев до резинки.

Вроде бы мелочь, но его это заинтриговало. Видимо, он надевал их невнимательно и не заметил этой странности – носки со швом по всей длине, от пальцев через подъем до самой резинки. Поэтому, закончив водные процедуры, он направился прямо к шкафу, в нижнем ящике которого обитали его носки, образовавшие плотный черно-серый ком. Он выудил из него первый попавшийся носок, поднес к глазам и растянул на пальцах. Поскольку попался черный, а в комнате было темновато, ему мало что удалось разглядеть. Пришлось вернуться в спальню за очками, и лишь тогда он обнаружил, что и на этом черном носке имеется такой шов. Теперь он вытаскивал один носок за другим, заодно пытаясь разобрать их по парам – у каждого был шов, от пальцев до резинки. Похоже, что носок немислим без этого шва, это его неотъемлемая часть, неотделимая от самого понятия носка.

Сперва он испытал злость, трудно сказать, в большей степени на себя или на эти носки. Он не знал носков с таким швом по всей длине. Да, есть поперечный шов на уровне ногтей, но остальная поверхность – гладкая. Гладкая! Он надел этот черный носок на ногу, тот выглядел странно, так что он с отвращением отшвырнул его и начал примерять другие, пока не устал и не почувствовал одышку. Никогда раньше он не замечал у носков такого шва. Как это возможно?

Пан Б. принял решение просто перестать думать о носках; в последнее время он часто так делал: то, что оказывалось ему не по силам, прятал подальше, на чердак своей памяти, говоря себе, что может без этого обойтись. Он приступил к сложному ритуалу заваривания утреннего чая, в который добавлял немного травяного сбора для профилактики простатита. Отвар дважды процеживал через ситечко. Когда все было готово, пан Б. резал хлеб и намазывал два маленьких кусочка маслом. Клубничный джем его собственного изготовления оказался испорченным – сизое око плесени взирало на него из банки провоцирующе и нагло. Так что он удовольствовался хлебом с маслом.

Проблема шва возникала еще несколько раз, но он отнесся к ней как к неизбежному злу – словно это подтекающий кран, оторвавшаяся ручка кухонного шкафчика или сломанная молния на куртке. Преодолевать подобные препятствия стало ему не под силу. Сразу после завтрака он отметил в

телепрограмме то, что собирался сегодня посмотреть. Пан Б. старался плотно занять день, оставляя лишь несколько пустых часов для приготовления обеда и похода в магазин. Впрочем, ему почти никогда не удавалось приноровиться к режиму телевизионного распорядка. Он засыпал в кресле, а потом вдруг просыпался, не понимая, который час, и пытаясь при помощи телепрограммы определить, в какую часть дня угодил.

У продавщицы в угловом магазине, куда он обычно ходил, было прозвище Начальница. Крупная, солидная женщина с очень светлой кожей и ярко подведенными ниточками бровей. Он уже укладывал хлеб и банку паштета в сумку, когда что-то его толкнуло и он, будто бы невзначай, попросил носки.

– Возьмите несдавливающие, – сказала Начальница и подала ему пару коричневых носков в аккуратной упаковке.

Пан Б. начал неуклюже вертеть их в руках, пытаясь что-то разглядеть сквозь целлофан. Начальница взяла у него пакетик и ловко извлекла оттуда носки. Растянула один на ухоженной ладони с красивыми накладными ногтями и поднесла к глазам пана Б.

– Смотрите, они вообще без резинки, не сдавливают ногу и не нарушают кровообращение. В вашем возрасте... – начала она, но осеклась, видимо, решив, что о возрасте говорить не следует.

Пан Б. склонился к руке Начальницы, словно собираясь ее поцеловать.

По центру носка проходил шов.

– А без шва нет? – спросил он словно бы между прочим, оплачивая покупки.

– Как это – без шва? – спросила удивленная продавщица.

– Ну таких, совсем гладких?

– Ну что вы! Это же невозможно. Как, по-вашему, носок будет держаться?

Так что он твердо решил оставить эту проблему в покое. Человек стареет, многое ускользает от его внимания – мир несется вперед, люди постоянно придумывают что-то новое, какие-то очередные удобства. Он просто не заметил, как носки изменились. Что ж, может, это случилось уже давно. Невозможно быть в курсе всего на свете, утешал он сам себя, семеня домой. Сумка-тележка весело застучала вслед за ним, светило солнце, соседка снизу мыла окна, и ему вспомнилось, что он собирался спросить, не знает ли она кого-нибудь, кто мог бы помыть окна и в его квартире. Сейчас он видел их снаружи – серые, как и занавески. Такое ощущение, что хозяин давно умер. Он отогнал от себя эти глупые мысли и немного поболтал с соседкой.

Образы уборки и весны оставили в нем тревожное чувство, что ему тоже нужно что-нибудь сделать. Он бросил сумку в кухне и, не раздеваясь, вошел в комнату жены, где теперь спал; его комната служила складом для старых телепрограмм, коробочек, баночек от йогурта и прочих предметов, которые могли еще пригодиться.

Он бросил взгляд на не утративший очарование дамский интерьер и пришел к выводу, что все здесь так, как должно быть – занавески задернуты, легкий полумрак, кровать аккуратно застелена, только один уголок одеяла отогнут, словно пан Б. неподвижно спит. В полированном буфете стояли парадные чашки с кобальтово-золотистым узором, хрустальные рюмки и привезенный с моря барометр. Сей факт подчеркивала не оставлявшая сомнений надпись «Крыница-Морска». На тумбочке у кровати лежал его аппарат для измерения давления. Большой шкаф с противоположной стороны кровати уже многие месяцы ждал, пока пан Б. обратит на него внимание, но после смерти жены тот заглядывал туда редко и неохотно. Там по-прежнему висела одежда жены, и он много раз обещал себе разобраться с этим вопросом, но так и не собрался. И вот теперь ему в голову пришла смелая мысль – может, одарить этими вещами соседку снизу? Заодно спросит ее насчет окон.

На обед он приготовил себе спаржевый суп из пакетика, который оказался по-настоящему вкусным. На второе поджарил вчерашнюю молодую картошку, запив ее кефиром. После дремы, которая естественным образом следовала за обедом, пан Б. отправился в свою комнату и два часа добросовестно наводил порядок в старых телепрограммах, которые еженедельно относил сюда – получалось пятьдесят с лишним штук в год, всего около четырехсот номеров, сложенных несколькими кривыми пыльными стопками. Выбрасывание их было уборкой

символической: пан Б. хотел таким образом обозначить начало года – ведь год начинается весной, а не с какой-то там даты в календаре, – неким очищающим актом, подобным ритуальному омовению. Ему удалось вынести все это на помойку и выбросить в желтый контейнер с надписью «бумага», после чего его тут же охватила паника – он избавлялся от части своей жизни, ампутировал свое время, свое прошлое. Пан Б. приподнялся на цыпочки и в отчаянии заглядывал внутрь, пытаясь обнаружить свои телепрограммы. Но те исчезли в темной бездне. На лестничной клетке, поднимаясь к себе, он коротко и смущенно всхлипнул, а потом ощутил слабость, которая обычно была признаком поднимающегося давления.

На следующее утро, после завтрака, когда пан Б., как обычно, принялся отмечать достойные просмотра телепрограммы, его встревожила авторучка. След, который она оставляла на бумаге, был некрасивым, коричневым. Сначала он подумал, что дело в бумаге, а потому схватил другую газету и начал раздраженно рисовать на полях кружочки, но они тоже оказались коричневыми. Он решил, что от старости или по каким-то другим причинам чернила в ручке изменили цвет. Злясь, что приходится прервать любимый ритуал, чтобы поискать какой-то другой пишущий прибор, посеменял к полированному буфету, куда они с женой всю жизнь складывали авторучки. Их набралось там великое множество, и, конечно, многие были уже ни на что не пригодны – чернила высохли, стержни забились. Некоторое время он копался в этом изобилии, наконец вытащил две горсти и вернулся к своей газете, уверенный, что найдет хотя бы одну ручку, которая пишет так, как положено: синим, черным, в крайнем случае красным или зеленым. Однако ни одна из них не оправдала его надежд. Все оставляли след отвратительного поносного цвета гнилых листьев, мастики для пола или мокрой ржавчины, который вызывал у него рвотный рефлекс. Некоторое время старый пан Б. сидел неподвижно, только руки у него слегка дрожали. Потом вскочил и с грохотом открыл бар в старой мебельной стенке, где держал документы; схватил первое попавшееся письмо, но тут же отложил: оно, как и все прочее – счета, уведомления, квитанции, – было напечатано на компьютере. Лишь когда из-под самого низа ему удалось вытащить какой-то конверт с вручную надписанным адресом, он обреченно увидел, что и здесь чернила коричневые.

Пан Б. опустился в любимое телевизионное кресло, вытянул ноги и сидел неподвижно – дышал, устремив взгляд на равнодушную белизну потолка. Лишь потом в голову ему начали приходить разные мысли, которыми он мысленно

жонглировал, а затем отбрасывал:

– в чернилах авторучек содержится некое вещество, которое со временем утрачивает правильный цвет и становится коричневым;

– что-то появилось в воздухе, какой-то токсин, от которого чернила меняют цвет и становятся другими, чем раньше;

и наконец:

– проблема в его сетчатке, может, у него глаукома или катаракта, поэтому он стал иначе видеть цвета.

Однако потолок оставался белым. Старый пан Б. встал и продолжил размечать программу – не все ли равно, каким цветом это делать? Оказалось, что покажут «Тайны Второй мировой войны», а также, на «Планете», фильм о пчелах. В свое время он мечтал завести ульи.

Затем наступила очередь марок. Однажды, достав из почтового ящика письма, пан Б. замер, обнаружив, что все марки на них круглые. Зубчатые, разноцветные, размером со злотый. Его бросило в жар. Несмотря на боль в колене, он быстро поднялся по лестнице, открыл дверь и, не снимая ботинок, побежал в комнату, к бару, где хранил письма. У него закружилась голова, когда он увидел, что на всех конвертах, даже на самых старых, марки круглые.

Пан Б. сел в кресло и стал копаться в памяти, пытаясь отыскать там какой-то правильный образ марок. Ведь он в своем уме – отчего же круглые марки показались ему столь абсурдными? Может, раньше он не обращал на них внимания? Язык, сладкий вкус клея, кусочек бумаги, который его пальцы приклеивают к конверту... Письма когда-то были толстые, пухлые. Голубые конверты, проводишь языком по клеевой полоске, а потом прижимаешь пальцами, соединяя две части. Переворачиваешь и... – да, марка была квадратной. Точно. А теперь она круглая. Как это возможно? Он закрыл лицо руками и долго сидел так, под защитой пустоты, которая хранится под веками, всегда в нашем распоряжении. Потом пошел в кухню разбирать сумки с покупками.

Соседка снизу приняла его дар сдержанно. Она подозрительно поглядывала на коробку с аккуратно сложенными шелковыми блузками и свитерами. Однако ей не удалось скрыть блеснувшую в глазах алчность, когда она увидела шубу. Пан Б. повесил ее на дверь.

Когда они сели за стол и съели по кусочку пирога, запивая его чаем, старый пан Б. решился.

– Пани Стася, – начал он, драматически понизив голос.

Женщина подняла на него заинтересованный взгляд. Ее живые карие глаза тонули в омуте морщинок.

– Пани Стася, у меня тут возникла проблема... Скажите, у носков есть шов, такой, знаете, по всей длине?

Она молчала, удивленная вопросом, потом немного поерзала на стуле.

– Дорогой мой, что вы говорите? Как это – есть ли у них шов? Конечно, есть.

– И всегда был?

– Что вы имеете в виду, когда говорите «всегда был»? Разумеется, всегда.

Женщина чуть взволнованно смахнула со стола крошки пирога и пригладила рукой скатерть.

– Пани Стася, а какими чернилами пишут авторучки? – спросил он затем.

Не успела она ответить, как пан Б. нетерпеливо добавил:

– Синими, верно? Авторучки, с тех пор как их изобрели, пишут синими чернилами.

Улыбка постепенно исчезла с морщинистого лица женщины.

- Вы не волнуйтесь. Бывают еще красные и зеленые.

- Ну да, но обычно синие, правда?

- Хотите выпить? Может, по рюмке настойки?

Он хотел отказаться, потому что пить ему было нельзя, но, видимо, решил, что ситуация исключительная. И согласился.

Женщина отвернулась к мебельной стенке и достала из бара бутылку. Старательно наполнила две рюмки. Руки у нее немного дрожали. В комнате все было белым и голубым – обои в голубую полоску, белое покрывало и голубые подушки на диване. На столе стоял букет искусственных цветов, белых и голубых. Наливка наполнила рот сладостью и загнала опасные слова обратно в глубь тела.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Балтийское море (лат.).

2

Театр (лат.).

3

Колтун (лат.). Дословно – польская складка.

4

Моравский локон (нем.).

5

Коса домового (нем.).

6

Проволочная коса (нем.).

7

Эльфийский узел (англ.).

8

Кто есть кто (лат.).

9

Здесь: в итоге (лат.).

10

На деле (лат.).

----

Купить: [https://tellnovel.me/ru/tokarchuk\\_ol-ga/dikovinnye-istorii](https://tellnovel.me/ru/tokarchuk_ol-ga/dikovinnye-istorii)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)